

The.Feer

ЦЕНА ВОПРОСА



The.Feer

Цена вопроса

«Автор»

2026

The.Feer

Цена вопроса / The.Feer — «Автор», 2026

Ленинград, 1948 год. Бывший офицер немецкой тайной полевой полиции Отто Кёлер - из тех, кто разучился бояться после стольких лет службы смерти. Советская власть даёт ему второй шанс: пистолет, комнату и право восстанавливать справедливость там, куда не дотягивается закон. Он находит виновных и хладнокровно приводит приговор в исполнение сам, без суда.

Содержание

Пролог. Бумага	5
Дело первое. Цена комнаты	7
Дело второе. Цена приговора	10
Вечер. Кафе «Север»	13

The.Feer

Цена вопроса

Пролог. Бумага

Вера принесла мне бумагу. Двадцать листов в клетку, вырванных из чьей-то бухгалтерской книги, и карандаш, заточенный с обеих сторон. Карандаш, чтобы я не мог проткнуть им горло, догадался я. Бумага, чтобы я успел сказать всё. Ни то ни другое мне не пригодится, но я вежлив. Она сказала: «Пиши как есть. Без красивостей». Она не улыбнулась. Она давно не улыбается при мне, и это единственный счёт, по которому я готов платить без торга.

Меня зовут Отто Кёлер. Мне сорок два года. До тридцать девятого я служил в криминальной полиции Кёнигсберга, комиссаром по расследованию убийств, и был, как мне казалось, хорош. С сорок первого по сорок пятый я служил в тайной полевой полиции при группе армий «Север»: Псков, Луга, Гатчина, Красное Село. Про эти годы я напишу ровно столько, сколько нужно, чтобы вы поняли, откуда берётся рука, которая не дрожит. Ни строчкой больше. Просто цифры в этой главе слишком велики, чтобы произносить их вслух.

Скажу одно. После определённого числа срубленных голов человек перестаёт различать их по лицам. Головы становятся единицей измерения, как пуды, вёрсты или килограммы. И тогда невозможно поверить, что у мира есть какая-то иная арифметика, кроме той, где у каждой вещи есть цена, у каждого человека есть цена, и всё дело лишь в том, кто первым назовёт сумму.

В апреле сорок пятого меня взяли в Кёнигсберге, в подвале на Штайндамм. Русский капитан с усталым лицом бухгалтера отобрал у меня погоны, часы и «люгер». Я не спорил. Пистолет был хорош, но без него я чувствовал только лёгкость, будто снял тяжёлый пояс. Два года я пилил лес и разбираал завалы под Ленинградом вместе с такими же, как я, серыми людьми в серых шинелях. Кормили плохо. Спрашивали редко. Я ждал, что рано или поздно кто-нибудь назовёт мою цену, и был почти спокоен: я знал, что она невелика.

Её называли в сорок седьмом. Полковник Гордеев - начальник городского сыска, приехал в лагерь, долго листал мою учётную карточку, а потом сказал через переводчика: «Мне нужен человек, у которого в этом городе нет ни одного знакомого. Которого нельзя ни подкупить, ни запугать, ни пожалеть. У вас есть что-нибудь, что у вас можно отнять?» Я ответил, что нет. «Вот за это и берём», - сказал он.

Через неделю я получил комнату на Петроградской стороне, пропуск, жалованье консультанта и, самое главное, свой пистолет. Тот самый. С орлом над патронником и царапиной на левой щеке рукояти. Гордеев положил его на стол, как кладут кость перед собакой, и я взял. В тот миг я и понял, что цена у меня всё-таки есть. Немного, всего лишь пистолет. Но её заплатили, а я принял.

В городе тогда отменили смертную казнь. Указ вышел весной сорок седьмого: убийц больше не расстреливали, им давали двадцать пять лет. Гордеев любил повторять, что это гуманно. Я не возражал. Я знал, что гуманность - это когда счёт всё равно приходит, только позже и другому человеку.

Дел за полтора года набралось много, но настоящих было шесть. Я расскажу о них по порядку. Виновных я убивал. Невинных, к сожалению, тоже, и об этом будет отдельно. Единственное, что я прошу поверить на слово: я ничего не придумываю. Я не умею. Комиссара по расследованию убийств учат записывать факты, и это единственное ремесло, которое у меня не отняли.

Начну с октября сорок восьмого, когда город ещё пах гарью и мокрым кирпичом, а по ночам из разрушенных домов тянуло сыростью, как из открытой могилы.

Дело первое. Цена комнаты

Женщину нашли на лестнице дома. Сорок лет или чуть меньше, тёмное пальто с потёртым воротником, фанерный чемодан рядом. Череп проломлен чем-то тяжёлым и тупым: скорее всего, обрезком трубы или ломом. В кармане пальто лежал паспорт на имя Зинаиды Петровны Лебедевой, а в паспорте, заботливо сложенная вчетверо, справка о том, что гражданка Лебедева, эвакуированная в Свердловск в январе сорок второго, возвращается в Ленинград на прежнее место жительства.

- Ничего необычного, - сказал Гордеев, когда я вошёл в его кабинет. - Приехала, поднялась, получила по голове. Таких случаев у нас сейчас по три в неделю. Все хотят вернуться и все находят, что вернуться некуда.

Он сидел за огромным столом, широкий, седой, с тем добродушным лицом, которое бывает у людей, много лет подряд решавших, кому жить. На столе стоял телефон с гербом, письменный прибор и пепельница из трофейной германской гильзы. Я всегда замечая такие вещи. Сначала оружие, потом пепельницы, потом лица.

- Почему вы поручаете это мне?

- Потому что участковый уже закрыл дело как бандитское нападение. А мне кажется, что бандиты не носят с собой ключи от чужих комнат. - Он положил на стол связку, замотанную бечёвкой. - Это было у неё в чемодане. Один из них подошёл к двери на четвёртом этаже. В комнате живёт теперь другая семья. Ордер у них в порядке, подписан райисполкомом. Кёлер, я вам не приказываю. Я прошу посмотреть.

Он никогда не приказывал. Он умел так просить, что отказ звучал бы как саботаж.

В тот же день я поднялся на четвёртый этаж. Открыла женщина с младенцем на руках, испуганная и злая. Ордер у них был настоящий, с печатью, с подписью начальника жилищного отдела райисполкома Дымова Л. П. В ордере значилось, что комната площадью двенадцать метров освободилась по причине смерти прежней жилочки Лебедевой З. П., скончавшейся в блокаду. Даже дата стояла: февраль сорок второго.

Я посмотрел на женщину с младенцем и спросил, сколько они заплатили. Она заплакала. Такой ответ я слышал много раз, и он всегда означал одно и то же.

- Четыре тысячи, - сказала она наконец. - Муж всё продал. Отдали в конторе, без бумаги. Сказали, что комната пустая, что хозяйка умерла, что если мы не возьмём, то возьмут другие. Мы же ничего не знали. Мы не знали, что она жива.

- Она была жива до вчерашнего дня, - сказал я.

Больше ничего у неё спрашивать не требовалось.

Дальше работа пошла так, как я любил: без лишних людей и без лишних слов. Я взял в райисполкоме книги регистрации ордеров за два года. Просто взял, потому что консультант уголовного сыска имеет право задавать вопросы, которых от него не ждут, а служащие в сорок восьмом году ещё умели бояться формы. Сидя в пустом кабинете, я сверял смертные справки с ордерами. Рядом со мной стояла остывшая чашка кипятка. Через шесть часов я знал следующее: за два года в районе освободилось сорок одна комната, и все по одной причине: смерть прежних жильцов в блокаду. Все справки подписал один и тот же врач из районной поликлиники, с промежутками, будто по расписанию. В одиннадцати случаях жильцы, числившиеся мёртвыми, оказались живыми: вернулись из эвакуации, из госпиталей, из деревень. Семерых из них потом не видели. Трёх нашли на лестницах и в подвалах, и все три дела были закрыты как бандитские нападения. Четверо просто исчезли. Я нарисовал схему.

Дымова я увидел на следующее утро. Он оказался невысоким плотным человеком с красными ладонями и пушистыми бровями, похожим на трактирщика, который каждый вечер сам

пробует всё, что подаёт гостям. У него был кабинет с фикусом и портретом, и в этом кабинете он принял меня как родного.

- Товарищ Кёлер, слышал, слышал. Прошу, присаживайтесь. Чаю? С сахаром?

- Сахар не буду. Я хотел бы поговорить о Лебедевой.

- Ох, ужасная история. Ужасная. - Он покачал головой, и на лице его отразилось столько сочувствия, что я почти поверил. - Я сам, знаете, пережил блокаду. Похоронил мать, брата и отца. Каждую комнату в этом районе я знаю, как своё сердце.

Его правая рука лежала на столе. Левая находилась в ящике. Я понимал почему: там лежал наган в холщовой кобуре. Я заметил его в первую минуту, как только вошёл. Профессиональная привычка.

Я сказал ему, что видел книги. Он не изменился в лице. Я сказал, что видел справки. Он предложил чай ещё раз. Я сказал, что хотел бы осмотреть подвал дома, где, по словам участкового, тоже кое-что нашли. Это была ложь, но в моём ремесле ложь занимает то же место, что соль в кулинарии: ею не наедаются, но без неё всё безвкусно.

Дымов понял с первой фразы. Он был не дурак. Он посмотрел на меня долго, и я видел, как в его глазах идёт счёт. Потом он поднялся и сказал очень мягко:

- Пройдёмся. Только позвольте я прихвачу с собой кое-что для порядка. Подвалы, знаете ли, сейчас беспокойные.

Он достал из ящика наган и сунул его за пояс. Я кивнул, будто одобряя. Мне это подходило.

Подвал был пуст и сыр. Котельная, брошенная ещё в сорок втором, чёрные трубы, лужа под ногами и запах гнилой картошки. Здесь, в конце коридора, где они складывали то, что надо было спрятать, мы остановились. Я включил фонарь. На полу было пятно, и оно не имело отношения к Лебедевой. Оно имело отношение к другим.

- Я скажу вам цену, - заговорил Дымов, не глядя на пятно. - Вы человек рассудительный. Вы в этой стране чужой, вам нужна опора. Двадцать тысяч. Сразу. А хотите - комнату в новом доме, отдельную, с ванной. И женщину. У меня есть женщина, товарищ Кёлер, которая умеет делать свои дела так, что забываешь, в какой ты стране. Вам это сейчас нужно, по глазам вижу.

Он ошибался только в одном: мне это было не нужно. После стольких лет я не чувствовал ничего. Вообще ничего, ни к женщинам, ни к еде, ни к сну. Как будто где-то в Пскове у меня отрубили не голову, а способность желать. Я слушал его и думал о том, что двадцать тысяч и комната с ванной - вполне приличная цена. Из тех, что мне называли, эта была не худшей.

- Двадцать тысяч, насколько я понимаю, - повторил я. - За Лебедеву?

- За всё, - сказал он. - За все сорок одну.

Ему, вероятно, показалось, что я задумался. Я действительно задумался: о том, что арифметика - единственная честная наука. Если сорок одна комната стоила четыре тысячи каждая, то это сто шестьдесят четыре тысячи рублей. А если вычесть врача, писаря и участкового, выходило, что жизнь Зинаиды Лебедевой стоила ему что-то около двух тысяч. Может быть, меньше. Дёшево. Я подумал, что справедливость обязана платить по тому же курсу.

Он потянулся к нагану. Слишком поздно и слишком театрально: я уже держал «люгер». Первая пуля вошла ему в грудь, вторая в шею. Дымов сел в лужу, удивлённо глядя на собственные красные ладони. Я вынул у него из-за пояса револьвер и вложил в его пальцы. Потом выстрелил в стену над головой, чтобы гильза «люгера» лежала там, где ей полагается лежать в случае перестрелки. Русские называют это «протокол».

В протоколе я написал: «При задержании оказал вооружённое сопротивление». Гордеев подписал, не читая, и налил мне водки. Я выпил. Она была тёплая и противная.

- Молодец, - сказал он. - Быстро.

- Их было сорок одно, - сказал я. - Пострадавших.

- Порядок вещей, Кёлер, - сказал он. - Одни платят, другие живут в комнате. Пока вы не хотите менять порядок, у вас нет причин страдать.

Я ушёл, ничего не ответив. Шёл дождь. На улице набережной стоял мальчишка и продавал папиросы поштучно, по рублю за штуку. Я купил одну. Не потому что хотелось курить, а потому что я хотел ещё раз убедиться: цена у всего есть, даже у дыма.

Дело второе. Цена приговора

Адвоката звали Борис Ильич Ронин, и в ноябре сорок восьмого его нашли в подъезде дома на Литейном. Он лежал на ступенях лицом вниз, с портфелем под мышкой, и лужа под ним уже успела подёрнуться льдом. Три удара ножом, аккуратных, как подпись. Бумажник остался на месте. Часы тоже. Убийца искал бумаги.

Гордеев позвонил мне ночью. Голос у него был домашний, без начальственных ноток, и это всегда означало, что дело серьёзное.

- Ронин, - сказал он. - Адвокат. Вёл дела по указу от четвёртого июня. Знаете такой указ?

Я знал. Указ предусматривал от семи до двадцати пяти лет лагерей за хищение государственного имущества, и не важно, что именно ты украл: мешок муки или вагон сахара. В сорок седьмом году в стране, где половина людей просыпалась голодной, этот указ стал самым щедрым источником арестантов после войны. Суды не успевали. Судьи сидели в четыре смены. А там, где есть спешка и неограниченная власть подписи, обязательно найдётся человек, который назначит цену за каждый год.

Портфель Ронина мне отдали в морге. В нём остались только ключья бумаги, но я не зря когда-то был комиссаром. Ронин делал записи мелким почерком в школьной тетради, которую убийца не заметил, потому что тетрадь лежала не в портфеле, а в подкладке пальто. Я нашёл её утром, когда осматривал одежду покойного. Тетрадь была аккуратной и страшной. В ней стояли фамилии подсудимых, статьи, сроки и цифры справа. Десять лет - пять лет: три тысячи. Пять - условно: восемь. Оправдание не значилось нигде. Оправдание, видимо, не имело цены, потому что не существовало вовсе.

Судьёй, у которого шли все эти дела, был Афанасий Игнатьевич Мельников, народный судья Октябрьского района. Пятьдесят шесть лет, член партии с двадцать шестого года, три благодарности, орден Красной Звезды за какой-то давний процесс. Рядом с его фамилией Ронин поставил вопросительный знак. Потом, судя по нажиму карандаша, вопросительный знак обвёл. Потом дописал: «Овсянников. Идти в прокуратуру».

Про Овсянникова я узнал у его матери, которая жила в коммунальной квартире, и ждала меня в тёмной комнате, где стояли швейная машинка и икона, повёрнутая лицом к стене. Ей было шестьдесят два, но выглядела она на восемьдесят. Сына её, Виктора, девятнадцати лет, взяли на хлебозаводе с мешком муки за пазухой. Он нёс этот мешок больной сестре. Сестра умерла в марте.

- Ронин сказал, что можно договориться, - говорила старуха, не глядя на меня. - Сказал, что судья возьмёт три тысячи, и вместо десяти дадут пять. Я продала швейную машину, вот эту, вторую. Первую продала ещё в голод. Собрала три тысячи. Отдала ему. А судья всё равно дал десять. Ронин потом приходил, плакал. Сказал, что судья обманул, что денег вернуть невозможно, что он напишет в прокуратуру. А через неделю его убили.

- Вы говорили об этом кому-нибудь?

- А кому говорить-то? - Она наконец подняла глаза, и мне стало неуютно, потому что в них не было ни злобы, ни просьбы. - Судье? Прокурору? Они одна семья. Вы, сынок, откуда будете?

- Из Германии.

- Ах, из Германии значит?! Значит, тебе, конечно, виднее, - сказала она. - Ты там, разумеется, тоже, поди, всё это проходил.

Я не ответил.

Судью Мельникова я выбрал не сразу. Мне хотелось убедиться, что нож, которым убили Ронина, лежит в руке не судьи, а какого-нибудь мелкого посредника. Но по тетради выходило иначе: посредник был один, секретарь заседаний, человек с золотым зубом по фамилии Лузин.

Через сутки я его нашёл. Ему хватило четверти часа, чтобы всё рассказать: он передавал деньги от Ронина судье, потом судья давал ему пять процентов «за хлопоты». Ножом орудовал не он. Ножом орудовал сам Мельников, потому что судья, как выяснилось, ещё до революции служил в жандармском управлении в Вильно и умел обращаться с людьми, которые стали неудобными.

Лузин рассказал это дрожащими губами и сразу же, впервые за долгое время, показался мне живым: человек, который наконец сказал правду, всегда выглядит живее остальных. Потом я оставил его в камере и пошёл в суд.

Суд на работал допоздна, как и всегда. В коридорах пахло мастикой и сырыми шинелями. Мельников сидел в своём кабинете под портретом, в круге настольной лампы, и подписывал бумаги с таким видом, будто отпускал грехи. Он был высок, сух, с ухоженной седой бородкой и лицом старого врача.

- Товарищ Кёлер, - сказал он, не поднимая головы. - Вас ко мне давно направляли. Проходите. Присаживайтесь.

- Я постою.

- Как угодно. - Он отодвинул бумаги. - Я знаю, зачем вы пришли. Ронин. Я так и думал, что дойдёт до вас, а не до прокуратуры. У нас в прокуратуре сидят люди воспитанные.

- Вы убили его.

- Я убил, - согласился он. - Он был порядочным человеком. К сожалению, порядочность в наше время слишком дорого стоит, чтобы держать её в штате.

Я огляделся. Такая привычка тоже осталась от службы: прежде чем что-нибудь сказать, надо изучить помещение. В углу за портьерой виднелся сейф. Дверца была приоткрыта, и в щели тускло блестело что-то плоское и длинное. Трофейный «вальтер». Такие пистолеты в сорок восьмом лежали у половины начальства. Их привозили из Германии как сувениры и хранили как награды.

Я сделал шаг в сторону, так, чтобы судья увидел сейф. Не потому что хотел его подставить, а потому что всегда оставляю людям возможность. Так у меня заведено. Это не милосердие, а протокол. Пусть не говорят потом, что человек не имел шанса.

- Вы, немец, ничего не поймёте, - продолжал Мельников. Голос у него был ровный, судейский. - Вы видите взятки и думаете, что это коррупция. А это ремесло. Я двадцать лет сижу на этом стуле и знаю: каждому приговору нужна цена, иначе он не приговор, а произвол. Я лишь торгуюсь. Все торгуются: врач, милиционер, директор, священник. Разве в Германии было иначе?

- В Германии было хуже, - сказал я. - Там торговались не деньгами.

- Тогда вы тем более понимаете. - Он улыбнулся. - Поймите, я никого не убивал. То есть кроме Ронина, конечно. А остальных, всех этих мальчишек с мешками, я не убивал. Я только подписывал.

Слово повисло между нами и не двигалось.

Я тоже когда-то только подписывал. В Пскове, в сорок втором, у меня была печать и стол, за которым я ставил на бумагу фамилии. Это не я стрелял: стрелял ефрейтор Мюллер, или тот, кто оказывался в подвале в тот день. Я подписывал. Я даже не присутствовал. Потом я перестал спать.

- Знаю, - сказал я. - Я сам подписывал.

Он ждал, что я скажу дальше. Я не сказал. Я только положил руку на кобуру, медленно, чтобы он видел. Старый жандарм посмотрел на руку, на сейф, снова на руку. Я почти слышал, как в его голове щёлкают костяшки счётов: шансы, расстояния, вероятности. Он был хорошим бухгалтером. Он был так хорош, что выбрал невозможное.

Мельников кинулся к сейфу быстрее, чем я ожидал для его лет. Я успел выстрелить дважды. Вальтер остался у него в руке, выстрелить он не успел. Он упал на портьеру, сорвав её

вместе с карнизом, и лежал, вытянувшись, а борода его белела на тёмном ковре. В углу кабинета тикали настенные часы.

Я убрал с сейфа его пальцы, положил рядом пистолет и, для верности, спустил курок его рукой в стену. Раздался сухой хлопок. Из коридора никто не прибежал: в этом здании давно привыкли к таким звукам.

Гордеев на следующее утро прочитал рапорт и спросил только:

- Ронина он?

- Он.

- Хорошо, что сам сознался, - сказал полковник и задумался, глядя в окно. - А кто теперь будет сидеть на его месте?

- Другой судья, - сказал я.

- Вот именно. - Он вздохнул. - Иногда мне кажется, Кёлер, что мы с вами убираем воду из моря вёдрами.

- Я не убираю воду, - ответил я. - Я подсчитываю.

Мать Овсянникова получила сына назад через полгода, после пересмотра. Об этом мне рассказали много позже. Но, честно говоря, я не уверен, что это вообще произошло. В моём мире такие вещи запоминаются хуже других.

Вечер. Кафе «Север»

В декабре в Ленинграде темнеет в три часа дня, и к вечеру город превращается в чёрно-жёлтую гравюру: снег, свет из окон, редкие фонари, у которых слишком много тени. Я любил это время.

В тот вечер я шёл с Литейного, никуда не торопясь, и на Невском зашёл в кафе «Север». Там подавали пирожные из настоящей муки и чай с лимоном, и в углу стоял граммофон, который время от времени хрипло играл что-то довоенное. Свободных столиков не было. Я собирался уходить, когда женщина, сидевшая в дальнем конце, не поднимая головы, сказала:

- Садитесь, здесь свободно. Только не мешайте.

Я сел. Официантка принесла мне чай, посмотрела на меня с тем странным выражением, которое было у русских, когда они слышали мой акцент, - смесь ненависти и любопытства. Я сделал вид, что не заметил.

Женщина напротив читала дело. Толстая картонная папка с завязками лежала перед ней, и она перелистывала страницы, почти не глядя, как человек, которому давно известно, что там написано, ищет только одно слово. Ей было около тридцати. Лицо у неё было не из тех, которые собираются нравиться: скуластое, с прямым носом, с резкой линией рта. Над левой бровью проходил тонкий белый шрам. Каштановые волосы стянуты назад без всякого кокетства. Пальто на ней было мужское, перешитое, а на ногах - сапоги с подковками, которые стучали по паркету, как копыта.

- У вас скверная привычка, - сказала она, не поднимая глаз. - Читать чужие бумаги вверх ногами.

Я действительно читал. Это тоже ремесло.

- У вас скверная привычка оставлять их на столе перед немцем, - ответил я.

Она подняла глаза. Они были серые, очень светлые, почти без цвета, как у людей, которые долго смотрели на снег. В них ничего не было: ни страха, ни неприязни. Только внимание, и такое, что мне захотелось поправить воротник.

- Вы Кёлер, - сказала она. - Консультант полковника Гордеева. Про вас в управлении говорят: если полковнику нужно что-то, о чём он не любит говорить вслух, он посылает немца.

- А про вас?

- Вера Аркадьевна Ладыгина. Старший лейтенант милиции. Веду хищения. - Она закрыла папку. - Я читала ваши рапорты. Их у вас девять, если считать те, что без номеров. У вас на редкость воинственные преступники, Кёлер. Все до единого хватаются за оружие.

- Народ горячий.

- Странно. - Она отпила чай. - Когда я беру людей, они обычно плачут.

Я улыбнулся. Кажется, впервые за три года. Улыбка вышла неуклюжей, как походка человека, которому давно не приходилось ходить. Она заметила это и склонила голову набок, как собака.

- Вы давно в городе? - спросила она.

- Со времени вашей блокады. Только с другой стороны.

- Я знаю. - Она сказала это без всякой злобы. - Я лежала в подвале зимой сорок второго, когда вы обстреливали нас.

- Я не обстреливал вас. Я стрелял в других местах.

- Это должно меня утешить?

- Нет, - сказал я.

Она смотрела на меня долго. Граммофон заскрипел и оборвал песню на середине. Официантка перевернула пластинку.

- Мой муж погиб на Невском пяточке, - сказала Вера. - В октябре сорок второго. Мать умерла на Лиговском в феврале. Я была врачом на Ленинградском фронте, потом следователем. Я, Кёлер, привыкла считать, сколько человек обменяли на кусок хлеба. А вы?

- Я считаю, сколько стоит человек, - ответил я. - Обычно выходит немного.

- Обычно, - повторила она. - А необычно?

Я не знал, что сказать. Впервые за долгое время у меня не было готового ответа. Я был готов ответить на любой вопрос о Пскове, об Эрихе Мюллере, о тех подвалах, но не на вопрос о необычном.

- Мне следовало бы вас ненавидеть, - сказала она вдруг, буднично, как говорят о погоде.

- У меня для этого все основания. Ваша форма убила моего мужа. Ваш голод убил мою мать. Я должна встать сейчас и уйти, а вместо этого сижу и пью с вами чай.

- Так уходите.

- Не хочу, - сказала она и посмотрела на меня так прямо, что я невольно отвёл взгляд первым, чего со мной не случалось много лет. - Это и есть самое неприятное, Кёлер. Не то, что вы немец. А то, что мне не хочется уходить.

Мы вышли вместе, потому что кафе закрывалось. На Невском лежал свежий снег, и по нему тянулись две колеи от единственной машины. Мы дошли до моста и остановились. Вера курила «Беломор», зажав папиросу двумя пальцами. Она молчала. Я тоже. Это была странная тишина, не тяжёлая и не вежливая. Просто тишина двух людей, которые оба много слышали. И вдруг я заметил, что стою у моста и чувствую холод. Не как раньше, когда холод был обстоятельством, вроде погоды или приказа, а по-настоящему: ветер лез под воротник, замерзали пальцы, и в груди что-то дрожало, тонко и настойчиво, как струна, которую вот-вот тронут. Мне сорок один год. Я был мёртв три года. Я смотрел на женщину со шрамом над бровью и понимал, что тело у меня есть.

- Вы что-то хотите сказать? - спросила она.

- Нет. Ничего.

- Хорошо, - сказала Вера. - А то у вас лицо, как у человека, которому сейчас продадут что-нибудь очень дорогое.

Она бросила окурок в снег, шагнула ко мне так близко, что я почувствовал запах табака и мороза, исходивший от её пальто, и на секунду мне показалось, что сейчас случится то, ради чего люди сходят с ума. Не случилось. Она отступила, будто одёрнула сама себя, и в глазах у неё мелькнуло что-то похожее на злость - на меня или на себя, я так и не понял.

- Нет, - сказала она тихо, отвечая на вопрос, которого я не задавал. - Не сегодня. Может быть, никогда. Я не хочу хотеть этого, Кёлер.

Она ушла. Не оглянувшись. Я стоял и смотрел, как её сапоги оставляют в снегу ровные аккуратные следы, пока они не растворились в темноте. Я знал это чувство только с одной стороны - со стороны того, кто отдаёт приказ. Теперь я стоял по другую сторону, и оказалось, что это гораздо хуже.

Позже я узнал, что этот вечер не был случайным. Полковник Гордеев знал, где я бываю по четвергам, и знал, кому об этом сказать. Но тогда я ничего не знал. Я стоял у чёрных коней, и мне казалось, что я вдохнул воздух, в котором нет примесей. Как будто мир на минуту забыл, что у всего есть цена.

На следующее утро полковник вызвал меня к себе и сказал:

- Ладыгина. С сегодняшнего дня вы работаете вместе. Хищения из трофейных складов. Возражения?

- Никак нет, - сказал я.

- Так и думал, - заметил Гордеев и улыбнулся так, как улыбаются люди, которые заранее знают, что получат.